Познер Владимир 1.04.04

1 АПРЕЛЯ 2004 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 58 (2

Известия. – 2004. – 1 апр. – с. 1, 9.

Владимир ПОЗНЕР:

Я всё хочу! Мне ничего еще не надоело

У Владимира Познера — юбилей. 70 лет — дата нешуточная, но в случае с Познером кажется, что все врут календари: стремительный, элегантный, живой, по-настоящему современный Владимир Владимирович решительно не вписывается в рамки столь почтенного возраста. И уж совсем невозможно представить, что это в его жизни были далекий 1934 год, и Франция, где он родился, и Америка, куда бежала семья Познеров, спасаясь от нацистов... С Владимиром ПОЗНЕРОМ беседовала Ирина ПЕТРОВСКАЯ.

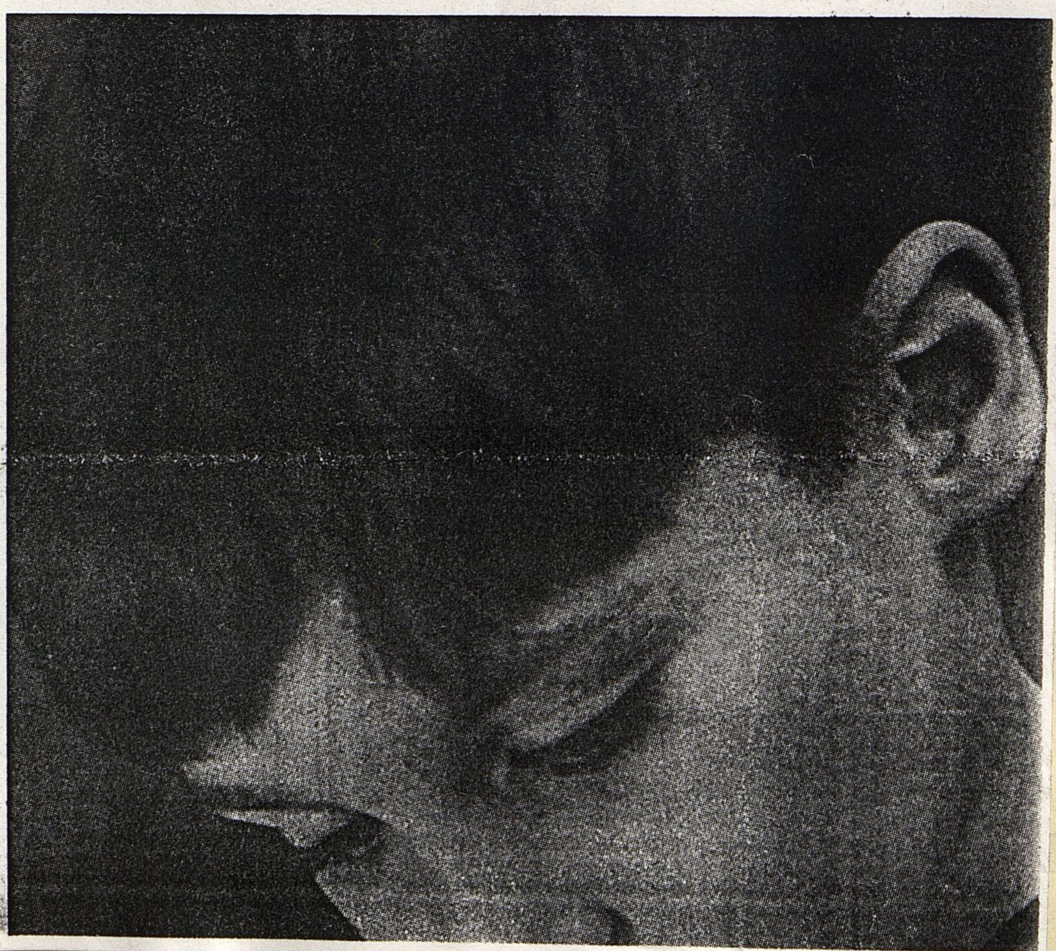
— Владимир Владимирович, вашего папу звали Владимиром Познером, так же, как и вас. А как звали маму?

— Жеральдин. Девичья фамилия мамы двойная — Дюбуа-Нибуайе. Поэтому и у меня, как у нормального крещеного католика, три имени: Владимир-Жеральд-Дмитрий Познер. Владимир — в честь папы. Жеральд — в честь мамы. А Дмитрий — в честь близкого друга моего отца Дмитрия Волкова, ставшего моим крестным.

Моему отцу было 14 лет, когда его родители вместе с ним эмигрировали из России сначала в Германию, а потом во Францию. Папа работал в парижском филиале кинокомпании «Метро Голдвин Майер», а мама работала в парижском филиале другой американской кинокомпании — «Парамаунт». Они познакомились, и в результате этого знакомства 1 апреля 1934 года в день рождения моей мамы родился я. Они не были женаты, поэтому я родился вне брака, значит, был бастардом. И вскоре мама поняла, что в принципе папа не очень-то и хотел жениться и тем более не хотел, чтобы я родился, — не хотел этой ответственности.

И она, будучи человеком гордым, сильным и независимым, решила, что раз так, то она уезжает. Мне было три месяца, мама взяла меня под мышку и уехала в Америку, поскольку там жили ее мама и младшая сестра, Жаклин, которая вышла замуж за американца.

(Окончание на 9-й стр.)



200

Владимир ПОЗНЕР:

Я всё хочу! Мне ничего еще не надоело

АЛЕКСАНДР КОРОЛЬКОВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Мы поселились в Нью-Йорке, мама продолжала работать на «Парамаунте». А я рос, не задумываясь над тем, почему у меня нет папы, не помню, чтобы это меня сколько-нибудь заботило.

Мама моя явно была однолюбом, а папа погулял несомненно. До 1939 года, когда умерла его мама. И мне потом рассказывали, будто бы она с него взяла слово, что он все-таки вернется к Жеральдин и к своему сыну. Он ей дал слово, поскольку очень любил свою маму и, кроме того, к какому-то моменту, наверное, понял, что очень любит и мою мать. И поэтому в 1939 году он приехал за ней. Она его ждала.

Я очень хорошо помню это: было лето, я жил на даче у наших друзей и очень ждал маму, которую обожал всю жизнь. Она приезжала всегда на уик-энд. И вот она приехала, а я наверху в это время играл с каким-то корабликом, не мог развязать веревку, и так как у меня плохой характер, стал пинать этот кораблик ногами и швырять его от злости. Мама в этот момент появилась и сказала, что там внизу есть какой-то дядя, который очень хорошо развязывает узлы.

Я спустился. Действительно, сидит какой-то дядя — «здрасьте-здрасьте». Он быстро развязал узел, тем самым доказав мне, что я просто идиот какой-то, я сказал «спасибо», хотел пойти, а мама вдруг сказала: «Это твой папа». Я не скажу, чтобы мамино сообщение произвело на меня какое-нибудь впечатление, но поскольку я это помню почти что как сцену из кино, значит, произвело.

И вскорости мы уплыли обратно во Францию. 1939 год. Очень «хорошее» время для возвращения! Но вернулись-таки в Париж. Мама продолжала работать, папа работал. Меня отправили в детский сад.

— А на каком языке вы говорили дома?

— Дома только на французском, поскольку мама русского и не знала. А вообще к пяти годам я свободно говорил на французском и английском. Потом началась война. Папа ушел во французскую армию, был пулеметчиком в легком бомбардировщике. Поэтому я очень мало его видел. Ну, такой строгий дядя. Кто он такой? Чего он такой строгий? Я не привык к этому. А он был такой немножко тиран дома. И можно так сказать, что лет до шести с гаком я вообще рос без отца, и, как мне кажется, это сыграло определенную роль в моей жизни, потому что все-таки характер формируется годам к пяти-шести, и я думаю, что если бы рос с отцом, то скорее всего он бы меня подавил.

А я вырос независимым очень. Мама никогда не давила, она совершенно по-другому относилась к детям — ко мне и младшему брату Павлику.

Я рос привилегированным мальчиком

— А вы запомнили войну, то, как в Париж вошли немцы?

— Еще как! При немцах я пошел в школу, и самая первая моя драма в жизни случилась, когда немецкий часовой у школы подарил мне мешочек со стеклянными шариками. Я пришел домой, высыпал шарики на ковер и стал их гонять. Мама пришла с работы, поцеловала меня и спрашивает: «Откуда у тебя шари-

Это был первый случай такого антифашистского обучения. Второй случай произошел в метро. А тогда во Франции были вагоны метро первого и второго класса. Первый — только для немцев, а второй — для французов. И вот мы с мамой едем в вагоне второго класса, и здесь же почему-то сидит немец. Входит беременная женщина. Он встает: «Садитесь, пожалуйста». Она смотрит мимо него, не видит и не слышит. Весь вагон замер. Он повторяет: «Садитесь, пожалуйста». Она смотрит так, как будто его нет. И на следующей остановке он с проклятиями выскочил из вагона, а весь вагон разразился аплодисментами. Такой был урок.

И последний урок, самый жестокий, я получил, когда меня отправили в Биарриц к подруге моих родителей Маргарит... Это было летом, ближе к осени. Напротив ее дома была больница, и там выздоравливающие немецкие солдаты и офицеры гоняли мяч, а я сидел на подоконнике и «болел».

Вдруг она меня берет за ухо такими стальными пальцами, сдергивает с подоконника и говорит: «Ты не смеешь смотреть на немцев». Потом заявляет, что лишает меня ужина и отправляет спать раньше времени. А мне 6 лет, между прочим. Ну, ладно, отправила. Разбудила меня часа в 3 ночи, сказала: «Одевайся». Я оделся. Темно, мрачно, промозгло. Вышли на улицу, идем в сторону океана. А людей все больше и больше, больше и больше.

Наконец, подходим к набережной: туча народу. Она проталкивается со мной прямо к парапету. Стоим. И тишина. Что происходит — не понимаю. Но не спрашиваю. Уже обучен. Потом по толпе пошел шум. И вдруг выплывает труп. Потом второй. В общем, всего пять. Выясняется, что это немецкие офицеры, которые днем пошли купаться. Их предупредили, что здесь коварное течение, но они же высшая раса — что им течение? Ну, утонули. А весь город знает, что в определенное время течение утопленников приносит. И вышел весь город! Посмотреть на немецкие трупы. Посмотрели — и тихо все разошлись.

И вот мы идем домой, и Маргарит мне говорит: «На таких немцев ты можешь смотреть». Ничего так, да?

А потом надо было бежать. Потому что папа — мало того что еврей, так он еще и русский еврей, так он еще и просоветский еврей, коммунистический еврей, да еще без гражданства, поскольку он не хотел брать никакого гражданства, был советским патриотом.

Короче говоря, бежали. Сперва на юг, в Марсель, в неоккупированную, или в так называемую свободную, зону, а потом и из Марселя убежали тоже, дав взятку гестапо и вывезя с собой девушку лет 18, еврейку, родители которой дали нам деньги на взятку, потому что таких денег у моих родителей не было, Мне было сказано: «Имей в виду: это твоя няня». И я прекрасно понимал, что это никакая не няня, но вопросов не задавал. Видимо, война быстро делает человека взрослым.

Через Испанию мы приехали в Португалию, потом сели на пароход, как сейчас помню, назывался «Сибонэ», и поплыли в Америку. И там я совершил свой первый мужской поступок, на этом корабле. У моей мамы был такой галстучек-бабочка из шелка — синего цвета в белый горошек с красным кантиком. Она очень любила этот бантик, но

мере, что меня никто бы не удержал. Я, конечно, его побил, отнял галстучек и принес маме. И я помню, с какой гордостью я его вручил и как она обрадовалась. Для меня было колоссальным счастьем, что она смеется, гладит меня по головке и говорит: «Ты мой рыцарь».

Потом была Америка. Нью-Йорк. Мама больше не работала, а папа работал в кино, занимался дубляжем, а потом прокатом фильмов «Метро Голдвин Майер». Он был крупным организатором, его хорошо знали в мировом кино. Зарабатывал хорошие деньги, я рос привилегированным мальчиком, хотя у нас дома все было строго. Но просто мы жили в замечательных условиях, я ходил в потрясающую школу, и до сих пор я считаю, что эта школа сыграла очень большую роль в том, кем я стал. Чисто по-человечески.

Мне страшно хотелось в СССР

— А то, что происходило в Советском Союзе, вы знали? Отец, будучи советским патриотом, как-то вас настраивал по отношению к своей исторической Родине?

— Папа купил контурную карту Европейской части Советского Союза, прикнопил к большой двери шкафа и рисовал черным карандашом наступление немцев, говоря мне: «Вот видишь, они приближаются к Москве, к Ленинграду, но запомни: они никогда не возьмут их, они никогда не победят». Я спрашивал: «Почему не победят?» Он говорил: «Это страна социализма, это самая справедливая в мире страна, где сам народ правит, и поэтому она непобедима».

Потом, когда начались контрнаступления, он рисовал их красными стрелками и страшно гордился. И кстати, он в 40-м году, уже живя в Америке, стал советским гражданином, потому что его отец в это время жил в Литве. А поскольку Литва согласно пакту Молотова—Риббентропа стала частью СССР, то вышел указ Верховного Совета СССР о том, что люди литовского гражданства или их дети, проживающие за рубежом, имеют право автоматически получить советский паспорт. Папа пошел в советское консульство и получил советский паспорт.

Больше никогда никакого другого гражданства у него не было. Он не стал ни французским гражданином, ни американским. И когда отношения между Америкой и СССР стали совсем уже плохими и его босс вызвал и сказал, что вынужден будет уволить его, если он не откажется от советского гражданства и не примет гражданство американское, отец отказался категорически. И он был уволен, фактически с волчьим билетом.

— Ваш отец, как многие другие русские эмигранты, был связан с советскими органами госбезопасности?

— Бесспорно. Никакого чина у него не было, он был один из многих идеалистов, которые считали, что служат родине, правому делу, никогда за это не получая ни медалей, ни денег. Но в Германию из Америки отец уже поехал как советский загранслужащий. Мы, разумеется, уехали с ним. Из всех стран на свете это была та самая страна, куда я больше всего не хотел ехать. Я ненавидел Германию, я ненавидел немцев, я был ребенком войны, я видел документальные съемки, которые показывали на Нюрнберг-

Рационально я должен был радоваться — мы в Советском Союзе! А эмоционально — что-то мешало. Я видел эти лица, чувствовал атмосферу, что-то было не то. Помню, как я переживал: я так мечтал, что наконец-то приеду в страну своей мечты, — и вот какой-то раскардаш, несоответствие.

Потом мы приехали в Москву. Не было никакой квартиры, мы поселились в гостинице «Метрополь» и прожили там довольно долго. Папа, как советский загранработник в Германии, получал часть зарплаты в марках, а часть в рублях — на свой счет, и у него накопилось что-то около 80 тысяч рублей, что по тем временам было очень много. Собственно, поэтому мы и могли жить в гостинице «Метрополь». Папа не мог устроиться на работу, его не брали никуда, он поехал наниматься в Минск, его не взяли, поехал в Тбилиси — не взяли. Круг сужался, и, конечно, если бы Сталин не умер, очень плохо бы все это кончилось.

А когда Сталин умер, то через какое-то время предложили родителям квартиру — двухкомнатную, отдельную, на нас четверых. И это считалось пределом мечтаний. Хотя я-то привык, по американским стандартам, что у меня было мои три комнаты и моя ванна. Мы переехали, и в 53-м году я поступал в МГУ, на биолого-почвенный факультет, я увлекался теорией условных рефлексов Павлова. Конечно, меня больше интересовала литература, филология, но я понимал, что мне не написать сочинение на филфак, а на биофаке сочинение все-таки не главное. Большой конкурс, проходной балл —24. И я набрал эти 24 балла. Гордился страшно. А в списках принятых себя не обнаружил. Я пошел в экзаменационную комиссию, и мне сказали, что очень многие получили 25 баллов, так что с 24 мне делать нечего.

Я в совершенно расстроенных чувствах ухожу, и какая-то добрая тетка меня догоняет: «Я вам ничего не говорила, но вы прошли, конечно, просто у вас фамилия плохая и биография ни к черту не годится». Я пришел к своему папаше и говорю: «Интересно, куда же ты меня привез-то? Оказывается, у меня фамилия какая-то не такая и биография хреновая, поэтому меня не приняли».

Папа, конечно, взвился. Он не был членом партии. Никогда. Но был человеком отчаянной смелости. И помчался в ЦК — стучать ку-

вообще никогда не был в подполье и за права негров не боролся. Тогда она сказала, что ее папа — советский посол в Китае, и он говорил, что людей вроде меня принимать в комсомол не надо, потому что мы чужие.

Потом у меня был бурный роман, который кончился тем, что я завалил два экзамена из трех. Я влюбился страшно в девушку, которой было 34 года, то есть она была намного старше меня. Короче, меня исключили из университета. Но папа меня опять спас. Меня условно восстановили на заочном отделении, хотя я ходил на все занятия, и зависело все от того, как я сдам экзамены летом. Я сдал на повышенную стипендию. К этому времени моя любовь меня выгнала к чертовой матери за то, что я ей соврал: не сказал, что завалил экзамены, а она узнала. Может, это был просто повод, но она меня выставила.

Летом мы с агитбригадой поехали на Братскую ГЭС. Я там пел. А играть на музыкальных инструментах я, к сожалению, не научился. Мама хотела меня научить играть на скрипке еще в Америке, когда я был маленький. Я ходил к учителю, у меня все было в порядке со слухом, я хорошо учился, пока однажды не вырезал из журнала карикатуру-комикс и не повесил у себя над кроватью. А комикс был такой: идет плотненький мальчик в коротких штанах со скрипкой, доходит до дома, звонит в дверь, за дверью стоит учитель с огромным шнобелем и длинными волосами, учитель садится за рояль, а мальчик открывает футляр, достает из него автомат и расстреливает учителя. Увидев карикатуру, мама решила, что мне не стоит больше заниматься игрой на скрипке.

Короче говоря, я очень неплохо учился на биофаке, но уже к концу третьего курса я стал понимать, что это не мое, что я не ученый, что у меня совсем не те мозги, хотя мне очень нравилась биология. И сейчас нравится. Я считаю, что это вообще самая интересная наука, а человеческий мозг меня всегда поражал и до сих пор поражает. Хотелось бы знать, как эта штука работает. А тогда я очень увлекся переводами английской поэзии на русский, занимался этим очень много.

В 57-м году — мне оставалось еще год учиться — открылся Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Среди приехавших американцев оказались мои знакомые, и я две недели с ними проторчал. И вдруг понял, что хочу уехать. Хочу уехать

рее. Но жене спасибо, что хотя бы последние пять лет она мне подарила. Отец умер между небом и землей, когда летел из Франции. Там он заболел, анализ крови показал, что у него лейкемия, причем в очень тяжелой форме. Врачи и его близкие посоветовали ему скорее уезжать, потому что, не дай Бог, он умрет во Франции, и тогда будет много бюрократической волокиты.

Это был 1975 год. Мама мне позвонила и сказала: «Папа твой умирает. Поговори с ним». Он взял трубку, мы поговорили, пошутили... Он уже все понимал сам, он был умный человек. Мы с братом поехали в аэропорт встречать родителей на машине, которую дал нам генерал КГБ, видимо, близкий друг моего отца. Мы приехали во «Внуково», и служащая аэропорта сообщила нам, что над Минском один из пассажиров умер. Ну, я уже понимал, что это папа. Последний раз я видел его живым на перроне Белорусского вокзала, когда они с мамой уезжали в отпуск, в Париж. Их тогда уже спокойно выпускали за границу. Сначала по отдельности: маму, потому что у нее сохранилось французское гражданство, потом вместе. Органы знали, что ничего не случится. Они были уверены в папе, но не были уверены во мне.

«Уволить Познера — не фокус, а кто будет работать?»

Еще когда я был студентом, меня пытались завербовать, и это продолжалось долго, с 55-го года, и закончилось, по-моему, в 63-м году. Последний раз, когда я встречался с ними на явочной квартире, мне предложили поехать в Варну на отдых, но в роли швейцарского гражданина. Я обозлился. Говорю им: у меня много родственников за границей, и внешность у меня в принципе запоминающаяся, и я буду ходить по Варне, и ко мне подойдет человек и скажет: «О, Володя! Что ты тут делаешь?» А я что отвечу? «Да какой Володя?! Я — Вильгельм Телль!» Тогда они заявили, что прекращают со мной всякие отношения.

В 1977 году благодаря стараниям Гелия Алексеевича Шахова, отца Маши Шаховой, который был моим главным редактором на иновещании, я попал в Венгрию. Я не опозорился, ничего не сделал в Венгрии антисоветского. Не сбежал, например, в Болгарию или там еще куда-то. И меня отправили в Финляндию. Это был следующий этап.

бы я сделал? Уволил бы к какой-то матери». И тут началось. Выезд мне закрыли, отстранили от эфира и вообще уволили бы к чертовой матери. Если бы не председатель Гостелерадио Лапин, который сказал: «Уволить Познера — не фокус, а кто будет работать?» Надо отдать должное, он не дал меня уволить. Не знаю до сих пор почему. В общем, это было очень плохое время для меня, и до прихода Горбачева я был невыездным. Так что с того момента, когда я покинул Америку в 1948 году, и до моего туда возвращения прошло 38 лет!

— И вот вы снова в Америке. Фактически дома. Что вы испытывали, о чем думали?

— Мне это снилось много раз, и несколько раз я даже просыпался в слезах. Я сел в самолет и все время думал: мне опять это снится. Вот я сейчас проснусь, и не будет никакого самолета, ничего. Когда я прилетел, меня встречала машина Фила Донахью, потому что он пригласил меня в свою программу. Я еду в этом лимузине и вижу, как поднимается манхэттенский силуэт. Я даже не могу описать, что это было за чувство... В общем, приехали мы в город, я поселился в хорошей гостинице, побросал все вещи и скорее на улицу. И иду. И такое было ощущение, что я и не уезжал никогда. Навстречу шли разные люди, а мне хотелось кричать: «Я! Я тут!» Передать это ощущение невозможно. Это было просто поразительно.

Потом, уже когда я начал работать, с 91-го года, я, конечно, вжился в другую Америку, которую не знал. Я уехал пацаном, мне было неполных 15 лет, и мое представление об Америке было на уровне тех лет. А уже когда я работал, я понял ее по-другому.

— В 1986 году у вас начались совсем «другие времена». После первого же телемоста с Америкой вы, что называется, проснулись знаменитым.

— До 1986 года меня просто не пускали на советский телеэкран. Я помню, мы с Мамедовым ехали в лифте, и я его спросил: почему? Он говорит: «А нам звезды не нужны». — «Почему?» — «Их контролировать трудно». И, собственно, первым моим выходом на советскую аудиторию и стал телемост. Поскольку я уже был очень известен в Америке, здесь и решили выставить человека, которого там знают, который может с американцами разговаривать. И вот я вышел на экран, и на следу-

жизнь, останься вы в Америке? Кем бы вы стали там?

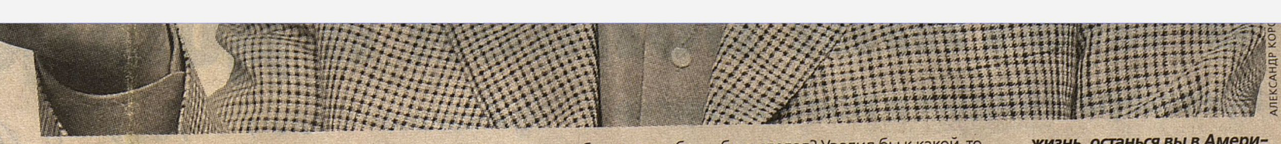
— Совершенно не представляю себе, хотя я часто об этом думал. То, что жизнь так странно со мною обошлась, конечно, сделало меня гораздо более богатым внутренне человеком, чем если б я просто жил в Америке. Я бы многого не знал, не знал бы мира, как я его знаю. Этот российско-советский опыт колоссально повлиял на меня. Трудные годы, я бы даже сказал, страдания обогащают человека. Некоторые ломаются, начинают пить, но со мной, к счастью, этого не случилось.

— А ощущение «свой среди чужих — чужой среди своих» вам знакомо?

— Да, конечно. Оно просто есть. Я знаю, что я нигде полностью не свой. Я вообще не умею до конца расслабляться, но лучше всего я себя чувствую во Франции. То, как там люди живут, их отношение к жизни, мне, наверное, ближе всего. Наверное, это от мамы. Начиная с еды, что для меня является очень важной вещью, и кончая отношением к жизни. Я научился ценить каждый день. Я понимаю, что неизвестно, будет ли завтра. И каждый момент этой жизни для меня страшно важен. И это не значит, что я не думаю о будущем. Я думаю. Но я ценю вот этот день, этот! Меня столько времени держали, не давали делать то, что я хочу. То нельзя, это нельзя, нельзя, нельзя, нельзя... И вдруг, в 52 года, открылись двери, и мне кажется, что столько накопилось, я с такой страстью кинулся в профессию, в мир. Я все хочу, мне ничего еще не надоело. Хочу, хочу, хочу!

— Но ваше «сомнительное» происхождение позволяет некоторым вашим недоброжелателям упрекать вас в том, что вы чужой для России, что вы не знаете и не любите эту страну. Как вам такие обвинения?

— Они вызывают у меня смех и презрение. Им больше не о чем говорить? А я Россию знаю прекрасно, объездил вдоль и поперек. Я пешком прошел из Иркутска в Братск, шестьсот километров через тайгу, с лесорубами. Я знаю эту страну. Другое дело, что я не совсем русский человек. Определить, в чем это выражается, невозможно. Есть какие-то внешние приметы. Например, когда русский считает, он загибает пальцы. А американец — отгибает. Вообще русский характер другой. Не мой. Есть много вещей, ко-



Я очень хорошо помню это: было лето, я жил на даче у наших друзей и очень ждал маму, которую обожал всю жизнь. Она приезжала всегда на уик-энд. И вот она приехала, а я наверху в это время играл с каким-то корабликом, не мог развязать веревку, и так как у меня плохой характер, стал пинать этот кораблик ногами и швырять его от злости. Мама в этот момент появилась и сказала, что там внизу есть какой-то дядя, который очень хорошо развязывает узлы.

Я спустился. Действительно, сидит какой-то дядя — «здрасьте-здрасьте». Он быстро развязал узел, тем самым доказав мне, что я просто идиот какой-то, я сказал «спасибо», хотел пойти, а мама вдруг сказала: «Это твой папа». Я не скажу, чтобы мамино сообщение произвело на меня какое-нибудь впечатление, но поскольку я это помню почти что как сцену из кино, значит, произвело.

И вскорости мы уплыли обратно во Францию. 1939 год. Очень «хорошее» время для возвращения! Но вернулись-таки в Париж. Мама продолжала работать, папа работал. Меня отправили в детский сад.

— А на каком языке вы говорили дома?

— Дома только на французском, поскольку мама русского и не знала. А вообще к пяти годам я свободно говорил на французском и английском. Потом началась война. Папа ушел во французскую армию, был пулеметчиком в легком бомбардировщике. Поэтому я очень мало его видел. Ну, такой строгий дядя. Кто он такой? Чего он такой строгий? Я не привык к этому. А он был такой немножко тиран дома. И можно так сказать, что лет до шести с гаком я вообще рос без отца, и, как мне кажется, это сыграло определенную роль в моей жизни, потому что все-таки характер формируется годам к пяти-шести, и я думаю, что если бы рос с отцом, то скорее всего он бы меня подавил.

А я вырос независимым очень. Мама никогда не давила, она совершенно по-другому относилась к детям — ко мне и младшему брату Павлику.

Я рос привилегированным мальчиком

— А вы запомнили войну, то, как в Париж вошли немцы?

— Еще как! При немцах я пошел в школу, и самая первая моя драма в жизни случилась, когда немецкий часовой у школы подарил мне мешочек со стеклянными шариками. Я пришел домой, высыпал шарики на ковер и стал их гонять. Мама пришла с работы, поцеловала меня и спрашивает: «Откуда у тебя шарики?» Я говорю: «Да вот, немецкий солдат подарил». Она как дала мне пощечину: «Ты не смеешь брать у немцев!» Мама меня никогда в жизни пальцем не тронула, всегда была очень нежной, а тут К-А-А-К въехала мне! Я прямо сейчас даже чувствую... Я просто остолбенел! И без объяснений! «Не смеешь!»

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЛАДИМИРА ПОЗНЕРА

Володя с мамой. США. 1939 год

телей Маргарит... Это было летом, ближе к осени. Напротив ее дома была больница, и там выздоравливающие немецкие солдаты и офицеры гоняли мяч, а я сидел на подоконнике и «болел».

Вдруг она меня берет за ухо такими стальными пальцами, сдергивает с подоконника и говорит: «Ты не смеешь смотреть на немцев». Потом заявляет, что лишает меня ужина и отправляет спать раньше времени. А мне 6 лет, между прочим. Ну, ладно, отправила. Разбудила меня часа в 3 ночи, сказала: «Одевайся». Я оделся. Темно, мрачно, промозгло. Вышли на улицу, идем в сторону океана. А людей все больше и больше, больше и больше.

Наконец, подходим к набережной: туча народу. Она проталкивается со мной прямо к парапету. Стоим. И тишина. Что происходит — не понимаю. Но не спрашиваю. Уже обучен. Потом по толпе пошел шум. И вдруг выплывает труп. Потом второй. В общем, всего пять. Выясняется, что это немецкие офицеры, которые днем пошли купаться. Их предупредили, что здесь коварное течение, но они же высшая раса — что им течение? Ну, утонули. А весь город знает, что в определенное время течение утопленников приносит. И вышел весь город! Посмотреть на немецкие трупы. Посмотрели — и тихо все разошлись.

И вот мы идем домой, и Маргарит мне говорит: «На таких немцев ты можешь смотреть». Ничего так, да?

А потом надо было бежать. Потому что папа — мало того что еврей, так он еще и русский еврей, так он еще и просоветский еврей, коммунистический еврей, да еще без гражданства, поскольку он не хотел брать никакого гражданства, был советским патриотом.

Короче говоря, бежали. Сперва на юг, в Марсель, в неоккупированную, или в так называемую свободную, зону, а потом и из Марселя убежали тоже, дав взятку гестапо и вывезя с собой девушку лет 18, еврейку, родители которой дали нам деньги на взятку, потому что таких денег у моих родителей не было, Мне было сказано: «Имей в виду: это твоя няня». И я прекрасно понимал, что это никакая не няня, но вопросов не задавал. Видимо, война быстро делает человека взрослым.

Через Испанию мы приехали в Португалию, потом сели на пароход, как сейчас помню, назывался «Сибонэ», и поплыли в Америку. И там я совершил свой первый мужской поступок, на этом корабле. У моей мамы был такой галстучек-бабочка из шелка — синего цвета в белый горошек с красным кантиком. Она очень любила этот бантик, но однажды его потеряла. И как-то я иду по палубе и вижу мальчика, который держит в руках мамин галстучек. Я ему говорю: «Ну-ка отдай, это моей мамы галстучек». А он мне: «Я его нашел, никому не отдам». Я его чуть не убил. Он был больше меня и сильнее, но во мне рыцарский дух проснулся в такой

рала очень большую роль в том, кем я стал. Чисто по-человечески.

Мне страшно хотелось в СССР

— А то, что происходило в Советском Союзе, вы знали? Отец, будучи советским патриотом, как-то вас настраивал по отношению к своей исторической Родине?

— Папа купил контурную карту Европейской части Советского Союза, прикнопил к большой двери шкафа и рисовал черным карандашом наступление немцев, говоря мне: «Вот видишь, они приближаются к Москве, к Ленинграду, но запомни: они никогда не возьмут их, они никогда не победят». Я спрашивал: «Почему не победят?» Он говорил: «Это страна социализма, это самая справедливая в мире страна, где сам народ правит, и поэтому она непобедима».

Потом, когда начались контрнаступления, он рисовал их красными стрелками и страшно гордился. И кстати, он в 40-м году, уже живя в Америке, стал советским гражданином, потому что его отец в это время жил в Литве. А поскольку Литва согласно пакту Молотова—Риббентропа стала частью СССР, то вышел указ Верховного Совета СССР о том, что люди литовского гражданства или их дети, проживающие за рубежом, имеют право автоматически получить советский паспорт. Папа пошел в советское консульство и получил советский паспорт.

Больше никогда никакого другого гражданства у него не было. Он не стал ни французским гражданином, ни американским. И когда отношения между Америкой и СССР стали совсем уже плохими и его босс вызвал и сказал, что вынужден будет уволить его, если он не откажется от советского гражданства и не примет гражданство американское, отец отказался категорически. И он был уволен, фактически с волчьим билетом.

— Ваш отец, как многие другие русские эмигранты, был связан с советскими органами госбезопасности?

— Бесспорно. Никакого чина у него не было, он был один из многих идеалистов, которые считали, что служат родине, правому делу, никогда за это не получая ни медалей, ни денег. Но в Германию из Америки отец уже поехал как советский загранслужащий. Мы, разумеется, уехали с ним. Из всех стран на свете это была та самая страна, куда я больше всего не хотел ехать. Я ненавидел Германию, я ненавидел немцев, я был ребенком войны, я видел документальные съемки, которые показывали на Нюрнбергском процессе. Я их люто ненавидел — и вдруг оказался в проклятой для меня стране. И мало того, так как я не говорил по-русски, то для русских, которые там были в большом количестве, я автоматически стал немцем. Ну, раз не говорит по-русски, значит, немец.

И это доводило меня до отчаяния. И вообще те четыре года, что я там прожил, это четыре самых несчастных года в моей жизни. Я, конечно, учил русский. Не хотел учить немецкий. Очень страдал. Очень. Хуже в моей жизни не было времени.

Папа все время хотел уехать в Советский Союз. И если бы советский посол в Германии Пушкин не удержал моего отца, ничего ему не объясняя, конечно, то наша семья погибла бы в СССР. Ведь мы приехали в Союз в декабре 52-го года, а в марте 1953-го дал дуба отец всех народов. Но если бы мы приехали в 48-м или 49-м — нет вопроса, что было бы с моим отцом, и, наверное, не только с ним.

— Но в 1952 году вы были уже совсем взрослым. Вы подчинились отцу или тоже мечтали очутиться в «стране чудес» — в стране победившего социализма?

— Да-а-а! Мне страшно хотелось в СССР. Я готовился, учил русский язык, сдавал экзамены на советский аттестат зрелости.

И вот наступил день великого счастья, когда мы сели в поезд и поехали. Я помню, как мы пересекли границу в Бресте. И вот очень странная вещь, я никогда не забуду: декабрь, холодно, снег, какой-то серый вокзал и масса людей в военной форме... И какие-то звероватые лица, я очень хорошо это помню. Рационально я должен был радоваться — мы в Советском Союзе! А эмоционально — что-то мешало. Я видел эти лица, чувствовал атмосферу, что-то было не то. Помню, как я переживал: я так мечтал, что наконец-то приеду в страну своей мечты, — и вот какой-то раскардаш, несоответствие.

Потом мы приехали в Москву. Не было никакой квартиры, мы поселились в гостинице «Метрополь» и прожили там довольно долго. Папа, как советский загранработник в Германии, получал часть зарплаты в марках, а часть в рублях — на свой счет, и у него накопилось что-то около 80 тысяч рублей, что по тем временам было очень много. Собственно, поэтому мы и могли жить в гостинице «Метрополь». Папа не мог устроиться на работу, его не брали никуда, он поехал наниматься в Минск, его не взяли, поехал в Тбилиси — не взяли. Круг сужался, и, конечно, если бы Сталин не умер, очень плохо бы все это кончилось.

А когда Сталин умер, то через какое-то время предложили родителям квартиру — двухкомнатную, отдельную, на нас четверых. И это считалось пределом мечтаний. Хотя я-то привык, по американским стандартам, что у меня было мои три комнаты и моя ванна. Мы переехали, и в 53-м году я поступал в МГУ, на биолого-почвенный факультет, я увлекался теорией условных рефлексов Павлова. Конечно, меня больше интересовала литература, филология, но я понимал, что мне не написать сочинение на филфак, а на биофаке сочинение все-таки не главное. Большой конкурс, проходной балл —24. И я набрал эти 24 балла. Гордился страшно. А в списках принятых себя не обнаружил. Я пошел в экзаменационную комиссию, и мне сказали, что очень многие получили 25 баллов, так что с 24 мне делать нечего.

Я в совершенно расстроенных чувствах ухожу, и какая-то добрая тетка меня догоняет: «Я вам ничего не говорила, но вы прошли, конечно, просто у вас фамилия плохая и биография ни к черту не годится». Я пришел к своему папаше и говорю: «Интересно, куда же ты меня привез-то? Оказывается, у меня фамилия какая-то не такая и биография хреновая, поэтому меня не приняли».

Папа, конечно, взвился. Он не был членом партии. Никогда. Но был человеком отчаянной смелости. И помчался в ЦК — стучать кулаком. А меня тем временем вызвали в военкомат и предложили идти в разведшколу, что было довольно смешно. Как сейчас помню — майор Рысь. Я спрашиваю: «Товарищ майор, а как это получается — в МГУ меня не берут с такой фамилией и биографией, а в разведшколу — пожалуйста?» Он говорит: «А у нас разные организации». Я отказался, конечно. И мне сказали: тогда мы возьмем тебя на флот, 5 лет будешь служить.

Тем временем папа мой бегал по разным высоким инстанциям, я думаю, здесь «органы» сыграли роль, и меня все-таки зачислили. Это было в октябре.

— И вот вы учитесь в МГУ, живете, наблюдаете советскую жизнь — и что обо всем этом думаете? Иллюзии постепенно развеиваются?

— Не будем забывать, что Сталин уже умер, это важный момент. И я еще все-таки осваиваюсь. Нравится мне многое. Я вижу, например, что учеба бесплатная, что неважно, кто твой папа — рабочий или академик, я вижу очень много того, что считаю справедливостью. А когда я вижу то, что мне не нравится, я нахожу оправдание: что страна все-таки такая сложная, со своей историей, понятно, что есть еще недостатки. А на биофаке была чудная публика, замечательный курс, потрясающая самодеятельность. После первого курса мы поехали на целинные земли с концертами. Все было очень увлекательно, романтично...

Потом меня не приняли в комсомол. Девушка в комитете комсомола стала спрашивать меня: как я боролся в подполье за права американских рабочих? Я ей сказал, что вообще никогда не был в подполье и за права негров не боролся. Тогда она сказала, что ее папа — советский посол в Китае, и он говорил, что людей вроде меня принимать в комсомол не надо, потому что мы чужие.

Потом у меня был бурный роман, который кончился тем, что я завалил два экзамена из трех. Я влюбился страшно в девушку, которой было 34 года, то есть она была намного старше меня. Короче, меня исключили из университета. Но папа меня опять спас. Меня условно восстановили на заочном отделении, хотя я ходил на все занятия, и зависело все от того, как я сдам экзамены летом. Я сдал на повышенную стипендию. К этому времени моя любовь меня выгнала к чертовой матери за то, что я ей соврал: не сказал, что завалил экзамены, а она узнала. Может, это был просто повод, но она меня выставила.

Летом мы с агитбригадой поехали на Братскую ГЭС. Я там пел. А играть на музыкальных инструментах я, к сожалению, не научился. Мама хотела меня научить играть на скрипке еще в Америке, когда я был маленький. Я ходил к учителю, у меня все было в порядке со слухом, я хорошо учился, пока однажды не вырезал из журнала карикатуру-комикс и не повесил у себя над кроватью. А комикс был такой: идет плотненький мальчик в коротких штанах со скрипкой, доходит до дома, звонит в дверь, за дверью стоит учитель с огромным шнобелем и длинными волосами, учитель садится за рояль, а мальчик открывает футляр, достает из него автомат и расстреливает учителя. Увидев карикатуру, мама решила, что мне не стоит больше заниматься игрой на скрипке.

Короче говоря, я очень неплохо учился на биофаке, но уже к концу третьего курса я стал понимать, что это не мое, что я не ученый, что у меня совсем не те мозги, хотя мне очень нравилась биология. И сейчас нравится. Я считаю, что это вообще самая интересная наука, а человеческий мозг меня всегда поражал и до сих пор поражает. Хотелось бы знать, как эта штука работает. А тогда я очень увлекся переводами английской поэзии на русский, занимался этим очень много.

В 57-м году — мне оставалось еще год учиться — открылся Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Среди приехавших американцев оказались мои знакомые, и я две недели с ними проторчал. И вдруг понял, что хочу уехать. Хочу уехать совершенно не по политическим соображениям, а просто потому, что это — мои люди, а это вот не мои. Я их понимаю по жестикуляции, по мимике, по тому, как они говорят, а тут я не свой, и я это остро чувствую. Я решил, что я уеду. И уехал бы. Но вскоре я познакомился с девушкой, в которую влюбился и которая стала моей первой женой. И я подумал, что я все-таки как-то приспособился к жизни в Советском Союзе, а сумеет ли она приспособиться к жизни в Америке и имею ли я право заставлять ее приспосабливаться? Поэтому я решил не уезжать.

— А ваш отец к тому времени уже расстался с собственными иллюзиями? Он понимал, что поломал естественный ход вашей жизни, вырвав из привычной среды и поместив в среду, мягко говоря, чужеродную?

— Может, и понимал, но никогда в этом не признавался. И, конечно, никогда бы меня не отпустил назад. Для него это была бы катастрофа. Наступил такой момент, когда я сказал ему, что не хочу здесь больше жить. Отец ответил, что посадит меня, если я решу уехать. Долгое время у нас с ним были очень тяжелые отношения. И если бы не Екатерина Михайловна, моя вторая жена, они бы, наверное, такими и остались. За несколько лет до его смерти она с ним встретилась и, как я считаю, вправила ему мозги. Благодаря моей жене мы все-таки сблизились. Мне до сих пор трудно говорить о потерянных годах, когда у меня не было отца, а мне так хотелось, чтобы он был. И, конечно, он виноват, потому что я был еще совсем юным, и он должен был быть просто мудрее. Но жене спасибо, что хотя бы последние пять лет она мне подарила. Отец умер между небом и землей, когда летел из Франции. Там он заболел, анализ крови показал, что у него лейкемия, причем в очень тяжелой форме. Врачи и его близкие посоветовали ему скорее уезжать, потому что, не дай Бог, он умрет во Франции, и тогда будет много бюрократической волокиты.

Это был 1975 год. Мама мне позвонила и сказала: «Папа твой умирает. Поговори с ним». Он взял трубку, мы поговорили, пошутили... Он уже все понимал сам, он был умный человек. Мы с братом поехали в аэропорт встречать родителей на машине, которую дал нам генерал КГБ, видимо, близкий друг моего отца. Мы приехали во «Внуково», и служащая аэропорта сообщила нам, что над Минском один из пассажиров умер. Ну, я уже понимал, что это папа. Последний раз я видел его живым на перроне Белорусского вокзала, когда они с мамой уезжали в отпуск, в Париж. Их тогда уже спокойно выпускали за границу. Сначала по отдельности: маму, потому что у нее сохранилось французское гражданство, потом вместе. Органы знали, что ничего не случится. Они были уверены в папе, но не были уверены во мне.

«Уволить Познера — не фокус, а кто будет работать?»

Еще когда я был студентом, меня пытались завербовать, и это продолжалось долго, с 55-го года, и закончилось, по-моему, в 63-м году. Последний раз, когда я встречался с ними на явочной квартире, мне предложили поехать в Варну на отдых, но в роли швейцарского гражданина. Я обозлился. Говорю им: у меня много родственников за границей, и внешность у меня в принципе запоминающаяся, и я буду ходить по Варне, и ко мне подойдет человек и скажет: «О, Володя! Что ты тут делаешь?» А я что отвечу? «Да какой Володя?! Я — Вильгельм Телль!» Тогда они заявили, что прекращают со мной всякие отношения.

В 1977 году благодаря старанием Гелия Алексеевича Шахова, отца Маши Шаховой, который был моим главным редактором на иновещании, я попал в Венгрию. Я не опозорился, ничего не сделал в Венгрии антисоветского. Не сбежал, например, в Болгарию или там еще куда-то. И меня отправили в Финляндию. Это был следующий этап. Там я пришел в полный ужас. Катя, жена, может рассказать, как я позвонил ей и сообщил, что зашел в хозяйственный магазин и посчитал, сколько продается видов сидений для унитазов. И меня это просто сразило. Мысль, что и у нас такое будет, меня не посещала. Хоть я и был наивен, но не был идиотом. Там тоже я себя вел хорошо. Я начал ездить, дважды был в Канаде, потом был во Франции в отпуске.

Но тут случился Афганистан. А надо заметить, что к этому времени я стал очень известен в Америке, потому что появлялся там как советский журналист и пропагандист по спутниковому телевидению в очень важных программах и произвел фурор. Я знал, как разговаривать с американцами. Кроме того, я не играл никакой роли, я был просто действительно убежденным человеком.

В одном интервью американец спросил меня: «А вы можете не согласиться с вашим правительством?» Я говорю: «Могу». — «Ну, например?» — «Ну, например, у нас смертная казнь, а я против». Он говорит: «Хорошо. А во внешней политике?» — «Ну, например, Афганистан». — «Что Афганистан?» Я говорю: «Ну, мне кажется, что это была ошибка, и мы об этом будем сожалеть». Ну, американец распространил мое интервью по агентствам, разумеется, нашлись в Гостелерадио «друзья», которые это прочитали. И один такой «друг» пошел к Мамедову, первому заместителю председателя Гостелерадио, и спросил: «Энвер Назимович, что бы вы сделали, если бы кто-нибудь из ваших работников сказал, что он против интернациональной помощи в Афганистане?» Тот ответил: «Ну, что бы я сделал? Уволил бы к какой-то матери». И тут началось. Выезд мне закрыли, отстранили от эфира и вообще уволили бы к чертовой матери. Если бы не председатель Гостелерадио Лапин, который сказал: «Уволить Познера — не фокус, а кто будет работать?» Надо отдать должное, он не дал меня уволить. Не знаю до сих пор почему. В общем, это было очень плохое время для меня, и до прихода Горбачева я был невыездным. Так что с того момента, когда я покинул Америку в 1948 году, и до моего туда возвращения прошло 38 лет!

— И вот вы снова в Америке. Фактически дома. Что вы испытывали, о чем думали?

— Мне это снилось много раз, и несколько раз я даже просыпался в слезах. Я сел в самолет и все время думал: мне опять это снится. Вот я сейчас проснусь, и не будет никакого самолета, ничего. Когда я прилетел, меня встречала машина Фила Донахью, потому что он пригласил меня в свою программу. Я еду в этом лимузине и вижу, как поднимается манхэттенский силуэт. Я даже не могу описать, что это было за чувство... В общем, приехали мы в город, я поселился в хорошей гостинице, побросал все вещи и скорее на улицу. И иду. И такое было ощущение, что я и не уезжал никогда. Навстречу шли разные люди, а мне хотелось кричать: «Я! Я тут!» Передать это ощущение невозможно. Это было просто поразительно.

Потом, уже когда я начал работать, с 91-го года, я, конечно, вжился в другую Америку, которую не знал. Я уехал пацаном, мне было неполных 15 лет, и мое представление об Америке было на уровне тех лет. А уже когда я работал, я понял ее по-другому.

— В 1986 году у вас начались совсем «другие времена». После первого же телемоста с Америкой вы, что называется, проснулись знаменитым.

— До 1986 года меня просто не пускали на советский телеэкран. Я помню, мы с Мамедовым ехали в лифте, и я его спросил: почему? Он говорит: «А нам звезды не нужны». — «Почему?» — «Их контролировать трудно». И, собственно, первым моим выходом на советскую аудиторию и стал телемост. Поскольку я уже был очень известен в Америке, здесь и решили выставить человека, которого там знают, который может с американцами разговаривать. И вот я вышел на экран, и на следующий день я был знаменит. Потому что такого никогда не было в Советском Союзе. Я получил 77 тысяч писем. Это же просто неслыханно!

— После такого очевидного триумфа и свалившейся на вас славы у вас не было обиды на судьбу, на конкретных людей за то, что столько лет упущено, что все это пришло к вам позже, чем могло бы прийти?

— Не бывает худа без добра, вот как интересно жизнь складывается. Если б меня пустили на экран раньше, то, возможно, в том новом времени, которое наступило в конце 80-х, я бы как раз и не был востребован, как оказались невостребованными многие, отнюдь не бездарные, а некоторые даже очень способные люди. Мои коллеги. Политические обозреватели-международники Гостелерадио СССР. Но они слишком отождествлялись с прошлым, с пропагандой, а я-то не отождествлялся. Выясняется: то, что меня не пускали, было счастьем. Видите, как странно все складывается.

Есть такое выражение: «Лови момент». Главное в жизни, как я понял, это, когда предоставляется какая-то возможность, не прозевать ее. Например, то, что я решил не становиться биологом. Ведь это было страшным разочарованием для моих родителей. Они очень хотели, чтобы их сын был ученым. Как мой брат Павел, доктор исторических наук, специалист по средневековому Вьетнаму. Но хватило у меня внутреннего ощущения, что это не мое, не буду я это делать. А ведь пять лет отучился, и можно было идти работать.

— А вы когда-нибудь думали, как могла сложиться ваша жизнь, останься вы в Америке? Кем бы вы стали там?

— Совершенно не представляю себе, хотя я часто об этом думал. То, что жизнь так странно со мною обошлась, конечно, сделало меня гораздо более богатым внутренне человеком, чем если б я просто жил в Америке. Я бы многого не знал, не знал бы мира, как я его знаю. Этот российско-советский опыт колоссально повлиял на меня. Трудные годы, я бы даже сказал, страдания обогащают человека. Некоторые ломаются, начинают пить, но со мной, к счастью, этого не случилось.

— А ощущение «свой среди чужих — чужой среди своих» вам знакомо?

— Да, конечно. Оно просто есть. Я знаю, что я нигде полностью не свой. Я вообще не умею до конца расслабляться, но лучше всего я себя чувствую во Франции. То, как там люди живут, их отношение к жизни, мне, наверное, ближе всего. Наверное, это от мамы. Начиная с еды, что для меня является очень важной вещью, и кончая отношением к жизни. Я научился ценить каждый день. Я понимаю, что неизвестно, будет ли завтра. И каждый момент этой жизни для меня страшно важен. И это не значит, что я не думаю о будущем. Я думаю. Но я ценю вот этот день, этот! Меня столько времени держали, не давали делать то, что я хочу. То нельзя, это нельзя, нельзя, нельзя... И вдруг, в 52 года, открылись двери, и мне кажется, что столько накопилось, я с такой страстью кинулся в профессию, в мир. Я все хочу, мне ничего еще не надоело. Хочу, хочу, хочу!

— Но ваше «сомнительное» происхождение позволяет некоторым вашим недоброжелателям упрекать вас в том, что вы чужой для России, что вы не знаете и не любите эту страну. Как вам такие обвинения?

— Они вызывают у меня смех и презрение. Им больше не о чем говорить? А я Россию знаю прекрасно, объездил вдоль и поперек. Я пешком прошел из Иркутска в Братск, шестьсот километров через тайгу, с лесорубами. Я знаю эту страну. Другое дело, что я не совсем русский человек. Определить, в чем это выражается, невозможно. Есть какие-то внешние приметы. Например, когда русский считает, он загибает пальцы. А американец — отгибает. Вообще русский характер другой. Не мой. Есть много вещей, которые выражают национальность человека. Скажем, язык и музыка. Язык я все-таки усвоил. А русскую народную музыку я люблю, но петь не могу. Она у меня не выходит. А вот американскую народную музыку, которую я обожаю, блюз, например, знаю, как петь.

— А работать вам не надоело?

— Не-а. Я получаю от этого колоссальное удовольствие, я обожаю работу. Я допускаю, что когда-то перестану делать «Времена», но значит, я буду делать что-нибудь другое, у меня уже даже есть идеи. Мне повезло, что жизнь в конце концов определила мне заниматься тем, чем я должен был заниматься. Я считаю, очень многие несчастья связаны именно с тем, что человек так и не находит себя. Школа не помогает это найти. Дважды два четыре — понятно, а вот для чего ты вообще родился на свет Божий? В чем твой талант, твое «я»? Как ты самовыражаешься? Человек, мечтающий о пенсии, это, по-моему, трагедия.

Когда я почувствую, что не могу делать то, что хочу, я уйду. Что будет после этого, я не знаю. Буду ли я искать работу где-то в другом месте, придется ли отказаться от телевидения, — не знаю. Заработок меня не особо волнует, потому что я создал себе некоторый запас прочности. Опасений остаться голодным самому и не иметь возможности накормить близких у меня нет. Я чувствую себя свободно потому, что я могу принять такое решение, и я знаю точно, что меня поддержит моя жена. Я отношусь к этому легко, философски. Не в России — так не в России, есть другие страны. Мне бы не хотелось этого, но если случится, значит, случится. Нам не привыкать.